

БИБЛИОТЕКА



№ 8

1966



Владимир ГОРДЕЙЧЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

СЕДЫЕ ГОЛУБИ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 8

Владимир ГОРДЕЙЧЕВ

СЕДЫЕ ГОЛУБИ

СТИХИ

Издательство «ПРАВДА»

Москва, 1966

Владимир ГОРДЕЙЧЕВ

Владимир Григорьевич Гордейчев родился в 1930 году в селе Касторном, Курской области. Здесь же окончил среднюю школу. Учился в Воронежском педагогическом институте, преподавал русский язык в сельских школах Курской и Воронежской областей.

В 1957 году окончил Литературный институт имени Горького. С этого времени живет в Воронеже.

В. Гордейчев — автор книг стихов: «Никитины камни», «Земная тяга», «У линии прибоя», «Беспокойство», «Зрелость», «Окопы этих лет», «Своими словами».

Член КПСС с 1957 года.

—

Владимир Григорьевич Гордейчев

СЕДЫЕ ГОЛУБИ

Редактор — **П. КРАВЧЕНКО.**

А 10552. Подписано к печати 5/III 1966 г. Тираж 103 800. Изд. № 554.

Зак. 258. Форм. бум. 70×108¹/₃₂. Объем 1,0 физ. печ. л.
1,40 условн. печ. л. Цена 4 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

ДОМ

Здравствуй, дом!
За ветками шипастыми
смотришь ты с улыбкой доброты.
На тебе добротной клепкой мастера
склепаны железные листы.
Под тебя не знающие тления
камни в основание легли —
никакие в мире столкновения
тех основ не выбьют из земли.
Статен ты.
А если и сутулишься,
то, видать, раздумье затаил.
За тобой
идут по нашей улице
старые товарищи твои.
Сколько раз,
посредников не жалуя,
я входил в простые те дома —
и мечты, тревоги, песни, жалобы
мне являла Родина сама.
Здравствуй, дом!
Опять для сына вымости
вмятые в дорогу кирпичи,
стойкости и тихой горделивости
заново сегодня научи.
Мне ль забыть,
какими ты и сколькими
бедами испытан на веку,
с окнами, пробитыми осколками,
с пулями в бревенчатом боку!

ГОЛУБИ

Чем день безоблачней и выше,
чем купол неба голубей,
тем ослепительней над крышей
блистают крылья голубей.
Мы все с улыбкой умиленья,
а то и с гиком молодым
за величавостью паренья
в лазури блещущей следим.
Ведь говорят, что в óно время
сам бог войны светлел лицом,
когда в его походном шлеме
голубка вывела птенцов.
А нам взаправдашнее небо
запомнилось, а не лубок —
тогда еще эмблемой не был
домашний белый голубок.
Тогда из каждого подвала
видали жители села,
как над огнем пожаров ало
сверкали белые крыла
и на трубе сожженной школы,
как символ горя всех времен,
сидел он, бывший белый голубь,
черным от копоти черён...
Прошли года. Еще по свету
не весь развеян черный дым,
но мы решили: птицу эту
в обиду больше не дадим.
И не символика, не сказки,
и не вранье в конце концов:
у нас в сарае в старой каске
голубка вывела птенцов.
Им только месяц от рожденья,
но им от прошлого дана
в задымленное оперенье
серебряная седина.
Взгляни ж, как нынче над Россией
простор сиянием объят,
и в нем не белые — седые,
седые голуби летят!

СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ

У тебя в незатейливой банке
из-под самых дешевых конфет
громыхают старинной чеканки
два десятка тяжелых монет.
Не банкир, не финансовый гений,
ты безмерно богат, нумизмат:
два десятка отборных сравнений
у тебя на ладони лежат.
Вот свидетелем древности горькой,
на застывшую слезку похож,
зеленеет в ладу с поговоркой
в самом деле обломанный грош.
Вот с трофейной и прочей валюты,
на слезах и крови разжирев,
то орел ощеряется люто,
то зловеще бросается лев.
Эту грудку дешевого блеска
отодвинув ладони ребром,
я люблюсь особенно веским,
нашим новым чеканным рублем.
Вот он лег, незапятнанно молод,
и на нем не зверинец войны,
просто серп отчеканен и молот
и колосья венком сведены.
Он, конечно, и золотом дорог,
только людям дороже всего,
что становится хлеб, а не порох
золотым содержанием его.
Оттого и горды от души мы,
потому и бесценно велик
шестеренки рабочей машины
полновесный и звонкий двойник.

МОЕЙ РЕВОЛЮЦИИ

Грозою полыхнувшая над катами,
народ с колен поднявшая рывком,
люблю во рту слова твои раскатывать
такие, как «р-республика», «р-ревком».

Они хранят громовый отзвук выстрелов
по Зимнему в том самом октябре,
в который я сощуренно и пристально
гляжу в моих раздумьях о тебе.
Сближая расстояния и сроки,
окинув твой немислимый разбег,
провожу я глубинные истоки
твои, едва ль не первые из всех.
В самих себе огонь высокий пестуя,
чтоб видеть путь, которым мы идем,
сегодня стал любой из нас ответственным
за всё, что совершается при нем.
И в этом суть. И в этом наше счастье.
И я, когда в сомнения войду,
советуюсь с моей Советской властью
и с Лениным в семнадцатом году.
Твой путь не прост. Корчуя пни и надолбы
в твоих рывках вперед и напрямик,
еще не раз все то, что пишешь набело,
ты завтра разорвешь, как черновик.
Но вольный свет раскованного разума,
до самых звезд вознесший нас почти,
да светит нам над суетными фразами
и утверждает правильность пути!

* * *

Кто вам сказал, что поэзия —
кроткого голубя стон,
если поэзия — лезвие,
вырванное из ножен,
если поэзия — кистью
твердо положенный след,
неотразимый, как истина,
века готовый портрет?
Мало прослыть человеком,
попросту знающим стих.
Главное веянье века
надобно в сердце вместить.
Самое главное выльется,
скажется самая суть,
если потом не в чернильницу —
в сердце перо обмакнуть!

БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

С полыханьем угарным
я мальчишкой знавал
поселковой пекарни
знаменитый подвал.
В нем хозяйничал пекарь,
а сверху, полугол,
над поленьями хекал
пожилой дровокол.
Для мальчишек блистали
ярче всяческих лун
пара клиньев из стали
и звенящий колун.
Там, где долго не меркла
печки добрая пасть,
забывал я и церковь
и пожарную часть.
Пекарь с чувством и толком
хлеб из форм вытряхал,
чтоб, испекшись, по полкам
остывал. Отдыхал.
Но пора приходила,
рвал он пышную плоть
и пахучую, с пыла:
— Ну-ка, на-ко, Володь...
Я учен был повадке
хлеб к губам поднести,
чтоб, вдохнув, как от водки,
захлебнуться почти.
Быть в слезах и не плакать
от духмяных щедрот
и дышать через мякоть,
обжигавшую рот...
Был хорош, но недолог
щедрый дух калача:
шла война, и в поселок
ворвалась саранча,
чтоб в мундирах форсистых,
с полной выкладкой блях
на чужих, на российских
отъедаться хлебах...
Поселковые парни,
на дорогах зимы

на «снегурках» попарно
ждали случая мы.
Был мотор у пекарни,
мы решались на риск:
зацепившись крюками,
мы с машиной неслись.
Хлеб везли без охраны,
и голодной зимой
мы без пары буханок
не являлись домой.
В этом промысле нашем
был и вызов и спор,
но в кабине однажды
оглянулся шофер.
Мы бы скрылись за клуней,
если б в этот же срок,
медь пистонную клюнув,
не сработал курок.
Эхом яблони тронуло,
страхом горло сдавило:
пуля Леньку Антонова
пронизала навывлет...
Комья жирные пашен,
зеленей густота.
Хлебородные наши
урожайны места.
На крови только пуще
прет из желтых суреп
для сограждан живущих
отвоеванный хлеб.
Если помнишь солдата,
не забудь пацана:
недешевая плата,
дорогая цена.
Светят звезды далекие,
дым возносится в небо...
Раздирающий легкие
дух горячего хлеба!

ЛАНДЫШИ

В толпе восторженных разинь
не взять не может за душу,
с каким испугом из корзин
выглядывают ландыши.
Они по-детски смущены,
они наивно зелены,
цветы чистейшей белизны
в ладонях влажной зелени.
Толпе базарной напоказ
как страшно вдруг явиться им!
Так мы робели, в первый раз
приехав из провинции,
и точно так до немоты
конфузились наивно мы,
как эти майские цветы,
забрызганные ливнями.
Пусть сегодня не к лицу
причуды старомодные,
но я прижму цветы к лицу,
как маску кислородную,
и, снова свежестью дыша,
почую, как от холода
моя стесненная душа
опять воспрянет молодо.
Пусть, удачно сбыв товар,
не без торговой удачи
начнет подшучивать базар
над праздными причудами.
А я застыну в стороне,
уткнувшись в букет, как пьяница:
его ладонями ко мне
земля родная тянется.

ЗЕМЛЯ В ПОЛЕТЕ

Ты в этом сам теперь уверься:
смотри,
туманами пыля,
внизу одним огромным сердцем
седая видится Земля.

Не мертвый шар под облаками —
но, пульсу нашему под стать,
она возносится хребтами,
чтоб через миг равниной стать.
Холмы, расплеснутые воды —
Земли смещения резки,
они как сердца переходы
от радости и до тоски.
Ее, наверное, впервые
решили круглою наречь,
лишь испытав дары земные —
плоды и круглую картечь.
Теперь и ты одну из ягод
ножом возьми и раздели —
и на ладонь, влажняя, лягут
два полушария Земли.
Но погляди, удостоверься:
под гулкой плоскостью крыла
она имеет форму сердца,
она нисколько не кругла,
хоть, отрывая пепелища,
с начала самых первых дней
мы все чего-то не отыщем
следов сердечности на ней.
На всей Земле — пахать ли станем,
в горах ли ржавый рыть песок, —
везде найдем холодной стали
войной оставленный кусок.
Земля, былинная планета!
Ее ль, как сердце, бережем?
Да не умрет она, задета
блеснувшим атомным ножом!
Сыны земли, да встанем рядом,
сердцами нашими закрыв
ее туманные громады,
испытанные на разрыв!

РОДНАЯ РЕЧЬ

Из вечной бронзы выкован
извечный русский выговор,
чеканное, глубокое
то аканье, то оканье.

Слова в иной пословице
поются, а не молвятся.
Слова звенят звоночками,
то «ечками», то «очками».
Вот палочка. И палица:
ударит — слон повалится.
Вот скрипка. Или скрипица:
играет — слезы сыплются.
А утка — это утица,
в куге озерной крутится.
А рыба — белорыбица,
плавник колючий дыбится.
А речек звоны светлые!
Люблю за ними следовать:
то сетовать над Сетунью,
то с Беседью беседовать.
Певучими — над елками —
соловьими прищелками,
родная речь, вызванивай
из каждого названия!
Тобой, как речкой Речицей,
любая боль излечится,
твои слова, пророчица,
журчат — и слушать хочется.

ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Дом кругом изукрашен резьбою,
ни износу ему, ни избою.
В этом доме с калиткой-скрипучой
жил старик со своею старухой.
Шел народ чуть не толпами к деду,
собирателю трав, травоведу.
— Здравствуй, дед. Не сослужишь ли службу?
Мне бы с Марьей сосвататься нужно,
да чего-то не ладится дружба.
Только, дед, между нами...
— Чего там!
Вот тебе Марьин цвет с приворотом,
ей его и подкинешь к воротам...
Вновь калитка скрипит по-комарьи,
это к деду является Марья:

— Дед, спаси меня. Сохну и вяну,
Не давай меня сватать Ивану...
Молвит дед, ошибиться не чая:
— Вот тебе семена Иван-чая.
Если видеть Ивана не любо,
ты разве их по ветру, голуба...
Стариковский совет не безделка,
все исполнили парень и девка.
Долго спорили тайные силы,
только вышло, как Марья просила...
Возле просеки пусто и глухо.
Умер дед. Умерла и старуха.
Бревна тоже осилила старость,
и от дома следов не осталось.
Но тому, кто приходит на место,
где терзались жених и невеста,
может долго рассказывать берег
о любовной двойной ворожке их.
Там, где с чарою чара боролась,
не дремотный расцвел гладиолус
и не влажно-сиреневый ирис
над болотною копанью вырос.
На кусте, на одной половине,
все цветы по-небесному сини.
На другой стороне небывало
все цветы по-чудесному алы.
С давних пор в сине-розовой паре
людям видятся девка и парень.
И цветы над болотною хмарью
носят имя Ивана-да-Марьи.

БАНЯ

Жалею Ваню-дурачка,
того, что вовсе не из сказки.
Он возит воду, два бачка
поставив рядом на салазки.
Мороз свирепствует, а он,
видать, откуплен у хворобы:
несет в прибое похорон
от самой церкви крышку гроба.
Он задарма — известно, глуп —
поленья бьет, дрова таскает.

Зато и билетерша в клуб
его бесплатно пропускает.
А там шарага наперед
едва от смеха не поляжет.
Прикажет:
— Пой!
И он поет.
— Теперь пляши!
И Ваня пляшет.
Веселье. Хохот от души.
— Ты Надя?
— Нет, я Ваня.
— Ладно.
Снимай-ка брюки, докажи...
И он докажет им. Наглядно.
Ребята ржут. А он глядит
и тоже скалится взажмурку,
а то, гляди, еще влетит
от расходившихся придурков.
Я этих шуток не любил
и даже в яростном запале
иному дурню морду бил,
а все равно не отставали.
Я часто думал на веку
о том неслыханном пристрастье,
с которым в сказках дураку
всегда приваливало счастье.
Как жаль, что нынче, отблестав,
чудес традиция забылась,
не то давно бы Ваня стал
царевичем за незлобивость!
С какой-то тайною грустцой
слежу за ним, таким нелепым,
когда ухватистой рысцой
он в магазин бежит за хлебом.
Бежит снегам наперерез,
а ветер вихри завивает...
И я не верю, что чудес
уже на свете не бывает!

ПОЛУСТАНОК

Дыма кудлатые клочья
в мутном окне распластав,
как пулеметная очередь,
долго грохочет состав.
Жаркую скомкав подушку,
смотрит мальчишка во тьму,
он не уснул, потому что
лампы не дали ему.
В комнату вспышка за вспышкой
падает из темноты,
словно отобранной книжки
кто-то листает листы.
Так начинается небыль:
взрывчатой силы полна,
с грохотом в черное небо
пенная рвется волна.
И с неумною качкой
парню поспорить веля,
тополи встали, как мачты
рвущего ночь корабля.
Это и правдою будет:
парень уйдет в океан,
грохнет на гребне, как бубен,
днища дрожащий редан.
Как это мудро и просто
то, что открылось вдали!
Тайна рожденья и роста,
молодость древней земли!
Лязгают блюдца о блюдца,
долго составы трубят.
Вслед за составами рвутся
взрослые думы ребят.
Ночь над землею. Тяжелый
грохот утих вдалеке.
Дремлет мальчишка. И желудь
в теплом зажат кулаке.

ЧАСЫ

Когда рассветные басы,
зайдутся в гулкой переключке,
я со стола беру часы,
сверяя время по привычке.
И на поверхности стальной,
где света смутное скольжение,
как в зеркале, передо мной
мое мелькает отражение.
Себя за годы не виня,
когда и хлеб бывал как милость,
я не стыжусь, что у меня
часы не в детстве появились,
что в жаркий полдень
на краю
пруда, мигающего зыбко,
я их подкладывал к белью,
как будто редкостную рыбку.
Или, нарвавшись на скандал
с соперником — бывало всяко, —
я никогда не забывал
отдать их другу перед дракой.
Комок, стучащий на ремне,
стянувший кожу у запястья!
Как много ты отмерил мне
неизживенческого счастья!
Пускай, на стрелок остря
по-дружески сверкая глазом,
я не забыл, что счастьем я
не им, а времени обязан.
И все же, трогая стекло,
я осторожен беспредельно,
как будто время не жило
от вас, часы мои, отдельно.
Как люди редкостно правы
в рывках стремительного века,
что называют вас на «вы»,
как дорогого человека,
за то, что им во всякий миг
служили вы в делах безмерных
как одержимости двойник
и неустанности соперник!
В потемках, вязких, как вода,
ловя биенье под подушкой,

я вас и ночью никогда
не вижу мертвой безделушкой.
Все кажется: останови
щелчки стального балансира —
и остановится в крови
последняя секунда мира.

РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ

...И когда приглядишься к листу,
к белоснежной бумаге с полями,
вдруг блеснет, озарив пустоту,
ослепительно белое пламя.
И немеешь, почти не дыша,
как охотник в догадке: «Не рысь ли?»
И уже холодеет душа
в несомненном предчувствии мысли.
Так бывает в степи за селом,
где из туч над уснувшей излучкой
ослепительно белый излом
вдруг блеснет без малейшего звука.
То, явившись откуда невесть,
просит слова дремавшая небыль...
Гром не грянул. Но он уже есть,
если молния вспыхнула в небе!

ЗЕЛЕННЫЕ ПОКОИ

Обожаю природу,
даже падаю ниц:
пью студеную воду
из бочаг и криниц.
В чаще леса колена
преклоняю, дабы
выбирать из-под клена
великаны-грибы.
Мне о силе нечистой
бает байку лесок:
кто-то дьявольским свистом
тишину пересек.

Но, к любой из проплешин
ворох листьев клоня,
ни чертям и ни лешим
лес не выдаст меня.
Наша дружба такая:
я в суглинок запруд
хворостинки втыкаю,
и, представьте, растут!
Трехметрового роста
вырастают, сквозя,
и в места эти просто
не вернуться нельзя.
По набитой дороге
через лес, без огня
я шагаю, и ноги
обгоняют меня.
Я с тропы этой милой
и слепым не собьюсь:
так выводят фамилию
в темноте наизусть.
Здесь, я помню, ровесница,
вздев баян на ремне,
нашу школьную песню
пела мне и не мне.
Тем, кто грудился около,
улыбалась бедово,
и от ревности охал я,
честное слово!
Здесь я страху причастен
был, спускаясь в долок:
в окровавленной пасти
волк зайчонка волок.
Но невольную здравицу
пело сердце на тризне
оттого, что не зайцы
мы в шальной этой жизни..
Тем лишь ведомо счастье,
кто хоть изредка мог
в отчий край возвращаться
после долгих дорог.
С поля дымом запахнет,
и в тумане седом
кто-то глянет и ахнет,
кто-то выдохнет:
—Дом!..

* * *

Беспробудная дрема рассвета.
Но, дремотную одурь гоня,
первый примус фырчит, как ракета,
первым признаком нового дня.
Я с постели решительно встану,
чуть помедлю на холоду
и не к жалкой струе из-под крана —
умываться на речку иду.
Там холсты заревого туманца
опояшут зеркальный залив,
там подсолнуха протуберанцы
полыхнут, берега озарив.
Сколько радостных знаю даров я,
возвращаясь домой через сад!
Спелых слив, словно вымя коровье,
лиловатые гроздья висят.
Солнце соком, как яблоко, брызнет,
брызнет яблоко светом во рту,
знаменуя восторженность жизни,
золотую ее полноту!

МЕРА ХРАБРОСТИ

В детстве я в глазах моих сограждан
был веселым парнем, полным сил:
два ведра на речку взявши, в каждом
я по половинке приносил.
И мои порепанные пятки
все делянки знали над рекой,
где, разрыв влажнеющие грядки,
племенная хрюкала морковь.
Я любил взъерошенным и босым,
обо всем узнавши наперед,
по ночному холоду, по росам
завернуть в соседний огород,
чтоб дожидаться оклика и лая,
как разведчик, снявший вражий пост,
и уйти, следов не оставляя,
унося морковину за хвост.
Это было нужно позарез нам —
у любого встречного спроси.

Мы росли на страх бахчам окрестным,
как и все ребята на Руси.
Но зато потом, военным летом,
это нам в тринадцать наших лет
кобуру с тяжелым пистолетом
доверял без риска сельсовет.
С патрулем, оглядывая ставни,
помню, я по площади кружил,
и спокойно спал себе недавний
недруг мой, суровый старожил.
Был он хоть и зол, но благодороден:
за потраву прямо не вина,
чучело в осеннем огороде
сделал он похожим на меня.

ЯБЛОКИ

Я слеп от яркого огня,
мне, помню, тошно было,
когда родная мать меня
в шестом часу будила.
Мне было тягостно вставать,
брала меня досада,
что люди спят, а мне опять
куда-то ехать надо.
А за окном буран визжал
и плакал — нет спасенья.
Уж лучше б я не приезжал
домой на воскресенье!
Я печь глазами обводил,
вздыхал: куда ж деваться?
И, ежась, в сенцы выходил
по пояс умываться.
Я разбивал в кадушке лед,
ругался поневоле:
ведь это было в первый год
моей работы в школе.
А мать печалилась, поди,
вздыхала, но молчала,
как будто снова от груди
ребенка отучала.

Я ладил сумку в стороне,
она помочь хотела
и яблоки в ладонях мне,
чтоб не ругался, грела...
Я ехал в дальнее село
среди снегов прозяблых,
но было мне теплым-тепло
от материнских яблок.

ПОРА ЧЕРЕМУХ

Древней не знаю интереса
в местах, знакомых наизусть,
чем тот, с которым в сумрак леса,
как будто в воду, окунусь.
Лес потрясает до рыданья,
он возвышает до небес,
зеленая исповедальня,
ветвей щебечущий навес.
И вы от свежести пьянели,
и вас покалывал остро
озон прохладного туннеля
зеленолистого метро.
Здесь прутик клена клюв разинул,
канавы зеленью свежи,
и трубки ландышей в низине
проткнули землю, как ножи.
Тропа в черемуховых звездах,
вдохнул — и слезы по лицу.
Вбирая полной грудью воздух,
брожу безвылазно в лесу.
Я не устану удивляться
богатству солнечных мазков
по шелку вымытых до глянца
тяжеловесных лепестков.
Я этот праздник, это чудо,
ветвей торжественный покой
ни на минуту не забуду
в своей квартире городской.
Приду домой, завешу окна,
открою книгу поновей
и вдруг, глаза закрыв, причмокну,
как в чаще чмокал соловей.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

В пустоте мелочей не канув,
грохот волн будоражит быт,
берег Тихого океана,
ты за давностью не забыт.
Ты — как влага иссохшей глотке.
Знаешь ты, и за то любим,
как по небу в подводной лодке
тосковал я во тьме глубин.
Как стоял я, забыв усталость,
на кренившемся берегу.
Так дышать, как тогда дышалось,—
без валов твоих — не могу.
В сапогах, в бескозырке набок,
я в распадки входил твои,
постигая, как дивно сладок
льдистый холод речной струи.
Так земля твоя соки гонит,
так метелки трав подняла,
что, не спешившись, мог бы конник
их связать на луке седла.
Океан, и тебя я слушал!
Вдоль песков твоих в блестках брызг
патрули пограничной службы,
как по ягоды, разбрелись.
Я глубинною верой верю,
что под солнцем наплывших дней
не услышишь ты, мирный берег,
пулеметных очередей.
Край родной! Без излишних тягот
ты торговлю собой отверг.
Здесь, у сопок, не крыши пагод —
елки вздернули плечи вверх.
И восходов лучи косые
и стремительная вода —
это нашенская Россия,
в душу легшая навсегда.
Все здесь близко мне. Здесь я дома.
Я недаром спешил в свой срок
от Касторного до кордона
с гордым именем Владивосток.

Стал я, видимо, выше ростом,
если ясно вижу вдали,
близ Японии, Русский остров,
оконечность родной земли.

СУВЕНИР

Я не искал и не хранил их,
мне дела не было до них —
я говорю о сувенирах,
о безделушках дорогих.
Хотя бы просто круглый камень —
ну что он скажет о волне?
Я море выучил на память,
оно и так гудит во мне,
как там, под соснами, в Мискоре,
где мы однажды на пути
решили в новый санаторий
на вечер отдыха пойти.
Там было тоже море гвалта.
И вот, людей срывая с мест,
с утра приехавший из Ялты
ударил «Барыню» оркестр.
И напряженно, словно в сечу,
на скулах — жаркие круги,
метнулся музыке навстречу
один чубатый, без ноги.
Кружась и яростно и тяжело,
он подлетал под крик «Ходи!»,
в ладоши бил и рвал тельняшку
с татуированной груди.
Он бушевал, самым собою,
своей бедой пугая зал,
и видел я, как отблеск боя
на бледных лицах возникал.
И, выводя мотив жестокий,
глуша соседней флейты свист,
надув щетинистые щеки,
сурово плакал тромбонист...
О море, вставшее у Крыма,
глубин лиловые слои!
Твои валы неповторимы,
и что мне копии твои!

Когда бы с золотом багета
гремучий вал ужиться мог,
я взял бы в раму полный света
волны воспрянувшей комок —
затем, чтоб вечный гул прибоя,
в мое врываясь бытие,
своей отпугивал пальбою
успокоение мое.

АПРЕЛЬ

Брызгает,
булькает,
тешится апрель.
Грохает сосульками
прямо на панель.
Голуби
молодо
рушатся с высот.
Человек по городу
зеркало несет.
А с боков, сверху ли —
света кутерьма.
И плывут в зеркале
люди и дома.
Вон в очках служащий
взглядом просверкал.
И блестят лужицы
тысячей зеркал.
Все в огнях небыли
здесь, на мостовой:
мы в воде, в небе ли
книзу головой?
От огней сверка ли,
видится всерьез:
человек в зеркале
радугу пронес.
И, с людьми
сколотой
улицей скользя,
я смеюсь молодого,
глядя в их глаза.

Небо стопудовое
нянчу на весу:
в новый дом новое
зеркало несу.

НА РЕКЕ

Ах, вода какая, просто золото!
И когда вылазишь, невесом,
на тебя таращится из омута
рыба сом с извилистым усом.
Пусть его глядит на полуголового,
чья рубаха — неба синева.
Небеса накинувши на голову,
продеваю руки в рукава.
Радостью землею переполненный,
с доброю улыбкой на губах,
с треском передергиваю «молнию»
на моей моднейшей из рубах.
Вот тогда-то, вспыхнув по-хорошему,
бархаты расстелют берега,
в крапинку, полоску и горошину
запестрят окрестные луга.
Надо мною с песней остановится
жаворонок, капелькой вися.
Счастлив я.
Почти что по пословице:
для такой рубашки родился!

ЖЕНЩИНА

Полнота скользящих линий —
не могу глаза отвести:
что-то в женщинах от лилий
удивительное есть.
Вот одна, нагая, летом
из воды идет — смотри! —
золотым и тайным светом
озаряясь изнутри.
Перед женщиной махровым
клевер стелется, лилов.
Вышла на берег — и словом
поперхнулся сквернослов.

Постоял над косогором,
и возшло в душе его
чувство древнее, с которым
созерцают божество.
Пусть глядит. И пусть не дышит.
А она встает с травы
вся в заре, и берег слышит
пенье светлое крови.
Вот пошла легко и ровно
в белом платье средь берез,
и светла ее корона —
лилия в узле волос.

СТЕПНЯЧКЕ

И было так, как ведала Россия,
когда, бежав от диких на Дону,
Владимира, единственного сына,
оставил князь в любовном полону.
Камыш топча, погоня шла сквозь плавни
и до зари выстаивал во тьме
тревожный сын княгини Ярославны,
и не спала степнячка на кошме.
Что слышал он:
гуденье колоколен?
Ликующие клики у застав?
Что думал он,
себя по доброй воле,
как я, навечно к Дону привязав?..
О, как могуче древнее оружие
в мельканье встреч и тяготах разлук —
широких скул двойное полудужье,
похожее на половецкий лук!
Теперь, какой побег ни соверши я,
меня везде, без промаха разя,
найдут твои безжалостно большие,
как стрелы оперенные, глаза!

ЛИВЕНЬ

Как рык медведицы в лесу,
близки громов угрозы,
а я по городу несу
домой тебе две розы.

Под голубые лезвия
лечу, отваги полный.
«Да нам ли,— думаю,— друзья,
бояться блеска молний?»
Бывало, в детстве этих гроз
мы и грознее видели,
в чужих оградах алых роз
ночные похитители.
Страшнее не было того,
когда, храня традиции,
мы рвали их у самого
начальника милиции».
Кто с этим страхом не знаком,
и кто, собою гордый,
трофеи те под пиджаком
не нашивал, как орден?..
Все ближе ухают грома,
и вот водой бурливой
на тротуары и дома
гудящий грянул ливень.
Забора мокрого навес
гудит над головами.
Но мне ли прятать от небес
некраденое пламя?
Лей, ливень!
Злее припусти,
меня до нитки вымой,
пусть пыль недолгого пути
не тронет рук любимой,
пускай из сутолоки дня
под тихое оконце
приду таким, чтоб сквозь меня
просвечивало солнце!

В РОДДОМЕ КАРАНТИН

Сто мужчин, расстроено ворча,
осадили здание, как остров:
к женам их веленьем главврача
не пускают бдительные сестры.
Ростом мал, да выдумкой удал —
или он не муж и не родитель? —
подогнал под окна самосвал
в кепочке замасленной водитель.

Юркий и пронырливый, как бес,
над толпой взмывая ястребино,
хлопнул парень дверцею и влез
по капоту прямо на кабину.
В сетку сунул руку. Наугад
покрутил транзистора колесику —
самую лихой из серенад
завопила песня из авоськи.
И мужчины, вдруг развеселясь,
так взглянули вверх по-молодому,
словно им явились в первый раз
жены их, все в белом, как мадонны.
Вот тогда-то с верхних этажей
так из окон жены замахали,
будто вновь увидели мужей
бравыми парнями-женихами.
А шофер все дальше от земли
возносил ликующие скрипки,
и в палатах долго не могли
погасить счастливые улыбки.

БЛУДНЫЙ СЫН

Года накладывают ретушь
на резкое лицо войны:
угла лишённые пригреты,
погибшие погребены,
и мы едва ли не бесстрастной
листаем старые вины.
И возвращаются из странствий
России блудные сыны,
кому в Боливии и Чили
пятнадцать лет была видна
земля, с которой разлучили,
родная сердцу сторона.
Она им виделась, как чудо,
и слабый не был духом нищ.
А этот вынырнул откуда,
с нерусским выговором хлыщ,
который чопорно и хмуро
провозглашает всякий раз,
что вот, мол, нет у вас культуры
и, дескать, догма душит вас?

Блестя намазанным пробормом,
он потирает сувенир,
колечко светлое, которым
снабдил его «свободный мир».
А я, смятенным сердцем дрогнув,
гляжу на острый клок волос
и не дыхну: наверно, «догма»
мне горло стиснула до слез.
И снова, порохом пропахший,
далекий день идет ко мне,
тревожа без вести пропавших,
без славы павших на войне...
Был день и час, когда с пальбою
кольцо смыкалось невдали
и в нашу комнату толпою
с мороза власовцы вошли.
Стянув немецкие шинели,
свалив винтовки, как дрова,
они о родине запели,
припомнив старые слова.
Но песня зло и непокорно
звенела пулей на лету,
и перехватывало горло
у тех, кто предал песню ту.
Им тоже б в тину эмиграций
нырнуть, когда б они смогли
остывшим сердцем оторваться
от окровавленной земли.
Но, песню спевшие, навалом
они лежали у стены,
себя связавши с генералом,
солдатами не прощены...
Мы в нашей правде не подсудны,
у нас незыблемая статья.
Не нам сегодня грохать в бубны,
культуру нашу защищать.
Но ты, мудрец, с усмешкой кислой,
многозначителен и лжив,
что ты всерьез в России смыслишь,
ее «признания лишив»,
не зная щедрости и силы
земли, которая теперь
тебя такого воскресила
из списка страшного потерь?..
Гляжу в упор на златоуста,

на блеск лощеной головы,
и не избавиться от чувства,
что все слова его мертвы,
что мертвой хваткой вьелись в палец
стальные челюсти кольца,
и, что бы делать ни пытались,
им не разжаться до конца,

РУБЕЖ

Что ни день, то пьянка или драка.
В скуке люди лютого лютей.
Помню я: была у нас собака,
кто-то хлеб с иголкой сунул ей.
Завели другую. Сколотили
будку: мол, живи и не скули.
Что за пес был! Немцы застрелили
в день, когда в Касторное вошли.
Третий был — охотник. Звали Джеком.
Рос со мной, на лис со мной ходил.
Был он, пес, почти что человеком,
разве только слов не говорил.
Как он утром весело метался,
весь в игре от носа до хвоста,
как скакнуть настойчиво пытался,
чтоб лизнуть хозяина в уста!
Помню, нес я воду от колодца,
наложив поверх капустный лист.
Только слышу: выстрел раздается
и меня зовущий смертный визг.
Захромал в ботве я, как калека,
расплескал всю воду впопыхах,
прибежал домой и вижу Джека —
мертвого, в распахнутых сенях.
У меня от собственного визга
память отрубилло наотрез.
Вырвал я тогда из-под карниза
из винтовки сделанный обрез.
И пошел с лицом блеее стенки
к сторожу отдела «Кожсырья».
И повел я дулом от коленки:
— Ты убил?
Колотится:
— Не я...

Видел: врет. Но стягивала сложность
судорогой, и мне не позабыть
чувство правоты и невозможность,
как собаку, сторожа убить.
Если б мне одно его движенье,
если б только глянул не всерьез...
Но меня сломило напряжение:
стала майка мокрая от слез.
Был потом я сонным отчего-то,
никуда не рвался и не лез.
Ночью батя выбросил в болото
старый мой винтовочный обрез.
И ушли, как дым, мои пятнадцать,
одолев смертельную межу.
С той поры, по совести признаться,
я уже собак не завожу.

* * *

Я видел немало людей,
достойных легенды,
которые
величием жизни своей
принадлежали истории.
Я в жизни видал и таких,
какие — от смертного страха ли,—
как крысы в подвалах своих,
сидели, закрывшись, и ахали.
Считали ушедшие дни,
с тоскою о старости думали.
Но, жившие с нами, они
еще до рождения умерли.
Живыми для жизни рожден,
я, может, не так уж и доблестен,
я попросту лез на рожон,
сражаясь с увертливой подлостью.
Я дрался и падал порой,
но мной ничего не потеряно:
для досок на памятник мой
еще не повалено дерево.
И как твоя злоба ни длись,
я не был твоим, упаковщица,
во всю мою звонкую жизнь,
которая скоро не кончится.

СЕНОКОС

Жаркими ветрами входит лето,
щедрое на выдумку,
и вот
блюдечко, наполненное светом,
по Лилейной заводи плывет.
На низах сверкнул десятки молний,
засвистят, выкашивая рвы,
всю округу доверху заполнит
винный запах вянущей травы.
Грузные, с подарками степными,
в сумерки разъедутся возы,
вылетев, ударится за ними
взмывенная конница грозы.
Выйди в сад, раскатами разбужен,
где трава в серебряной пыли,
где звезда дрожит в холодной луже
по другую сторону земли.
Ты услышишь пенные лога,
лепет листьев, жадно пьющих росы,
трепет сердца полночи,—
луга
зреют для второго сенокоса.

СОДЕРЖАНИЕ

Дом	3
Голуби	4
Советский рубль	5
Моей Революции	5
«Кто вам сказал, что поэзия...»	6
Баллада о хлебе	7
Ландыши	9
Земля в полете	9
Родная речь	10
Иван-да-Марья	11
Ваня	12
Полустанок	14
Часы	15
Рождение песни	16
Зеленые покои	16
«Беспробудная дрема рассвета...»	18
Мера храбрости	18
Яблоки	19
Пора черемух	20
Дальний Восток	21
Сувенир	22
Апрель	23
На реке	24
Женщина	24
Степнячке	25
Ливень	25
В роддоме карантин	26
Блудный сын	27
Рубеж	29
«Я видел немало людей...»	30
Сенокос	31

ПРИБРЕТАЙТЕ ОБЛИГАЦИИ 3% ЗАЙМА!

Государственный 3% внутренний выигрышный заем является для населения удобной и выгодной формой хранения денежных сбережений.

По займу выплачивается доход в виде выигрышей, которые разыгрываются в проводимых ежегодно шести основных и одним дополнительном тираже.

На 20 разрядов разыгрывается следующее количество выигрышей:

Размер выигрышей	В каждом основном тираже	В каждом дополнительном тираже
10 000 рублей	—	20
5 000 »	40	100
2 500 »	100	500
1 000 »	500	1 600
500 »	1 600	16 000
100 »	14 000	46 000
40 »	153 760	165 780
Итого:	170 000	230 000
Общая сумма выигрышей в рублях	9 300 400	22 781 200

Основные тиражи проводятся 30 января, 30 марта, 30 мая, 30 июля, 30 сентября и 30 ноября, а дополнительные тиражи — 30 сентября каждого года.

Выигрыши, выпавшие в основных тиражах, выплачиваются по всем облигациям независимо от срока их приобретения. Выигрыши, выпавшие в дополнительных тиражах, выплачиваются по облигациям, приобретенным не менее чем за девять месяцев до срока тиража.

Вероятность выигрыша по облигациям 3% займа увеличивается с каждым тиражом, так как выигравшие облигации погашаются при выплате выигрышей и в дальнейших тиражах не участвуют, а количество выигрышей, разыгрываемых в тиражах, остается неизменным до конца срока займа.

Облигации займа продаются и свободно покупаются сберегательными кассами.

Управление гострудсберкасс
и госкредита РСФСР